2-У-2

Леонид Сергеевич Соболев

SHOUT
SHARE
IT

- Соболев Леонид Сергеевич

Соболев Леонид Сергеевич
2-У-2

Леонид Сергеевич Соболев

"2-У-2"

В коде дружеских позывных под этим наименованием числились в эскадрилье младшие сержанты Усков и Уткин. Прозвище это родилось под крылом самолета, в ожидании боевого вылета. Кто-то спросил:

- А вот еще загадка - как вернее говорить: "стрижка и брижка" или "стритье и бритье"?

- Старо! - закричали все.

- Тогда поновее: "Усков и Утков" или "Ускин и Уткин"?

- Проще: "два-У-два", - густым басом сказал штурман эскадрильи, и всем это понравилось, даже самим сержантам.

До сих пор их звали "тиграми", что их сердило, - прозвище "тигры" имело свою историю, вспоминать которую они не любили. "Два-У-два" звучало несколько по-цирковому, но очень верно определяло их специальность, подчеркивало их неразрывную дружбу и не задевало самолюбия. Оба они были летчиками, настоящими боевыми летчиками, хотя каждому из них было неполных девятнадцать лет.

Девятнадцать лет... Удивительный возраст! Силы твои еще незнакомы тебе самому, и ты уверен, что можешь совершить много, над чем человек постарше призадумается. Сердце еще горячо, как неостывшая сталь отливки, и силы вскипают, ища выхода в действии. И всё - наружу, всё - на воле: любовь, отвага, гнев, ненависть - все чувства видны в блистающих глазах и стремительных поступках.

До того как получить самолет, Павел Усков и Иннокентий Уткин два месяца томились в аэродромной команде, и два месяца подряд они ходили то к майору, то к военкому, говоря все одно и то же: оба пришли сюда добровольцами, до призыва, оба - комсомольцы, оба имеют диплом пилота, полученный в осоавиахимовском клубе, и за обоими уже по шесть самостоятельных вылетов. Следовательно, им надо немедленно дать по боевому самолету. И всякий раз военком терпеливо разъяснял им, что каждый должен воевать на своем посту, что "вывозить" их на боевом самолете сейчас не время и не место и что он с охотой пошлет их в школу. Майор же сухо и коротко отсылал их на аэродром и однажды, потеряв терпение, пообещал посадить их под арест за обращение к нему не по команде. Они

вышли из землянки штаба строевым шагом, в ногу, молча. И только у самых мастерских Уткин мрачно сказал:

- Добились, пилот Усков... Люди воюют, а мы, того гляди, присядем.

- Вынужденная посадка, - бодро ответил тот. - Взлетим еще, пилот Уткин!

- Пожалуй, не взлетим, а вылетим: из эскадрильи в пехоту, - махнул рукой Уткин.

Однако, видимо, несмотря на угрозу "вынужденной посадки", Ускову удалось поднять упавший дух друга, потому что, дав командованию недельку передышки, оба вновь предстали перед военкомом и майором. На этот раз они просили не два, а всего один самолет, и каждый из них просил его не для себя, а для друга. Это был тактический ход, придуманный Усковым, и оба сошлись на том, что ход этот гениален.

- Пилот Уткин, товарищ майор, в аэроклубе был отличником, - докладывал Усков. - У него в Симферополе мать и сестра остались... так что, понятно, драться он будет хорошо...

Уткин, наклонившись к военкому, между тем негромко говорил:

- Павка, то есть пилот Усков, товарищ батальонный комиссар, летает прямо классно... Два брата на фронте... танкисты... Мы хотели просто в окопы проситься, но какой же смысл? Усков один с воздуха больше набьет, верно же, товарищ батальонный комиссар? Это же простой расчет...

- Кого бы из нас ни выбрали, товарищ майор, - закончил Усков, выпрямляясь, - оба мы будем драться, не щадя жизни.

- Как тигры, - добавил Уткин.

- Какие тигры? - спросил майор сердито.

Уткин опешил.

- Обыкновенные, товарищ майор...

- А вы тигров в воздухе видали? Мелете, сами не знаете что...

Майору было не до юнцов с их просьбой. Утром со вторым звеном не вернулся Савельев, а Панкратов едва довел свой самолет, получив два ранения. Это было в дни первого натиска немцев на Севастополь, и самолеты эскадрильи день и ночь штурмовали на шоссе немецкие колонны, расстреливали врагов в окопах и возвращались на аэродром только за горючим и боеприпасами. Летчики вылетали на штурмовку по пять-шесть раз в день, сильно уставали, эксадрилья несла потери Майор открыл уже рот, чтобы приказать не путаться тут под догами, когда военком вдруг спросил Уткина:

- Так сколько у вас вылетов в клубе было?

- Шесть, - поспешно сказали оба враз.

- Шесть? - изумился военком. Я думал, пять... Ну, коли шесть, ничего не поделаешь, придется подумать... Ну-ка, выйдите да обождите за дверью...

Он смотрел на них, хитро улыбаясь, и сердца комсомольцев дрогнули. Насмешка была очевидной. Они четко повернулись и вышли.

Минут пять они стояли у землянки в страшном волнении, без слов, только вытирая со лба пот. Наконец их позвали.

- Дадим вам самолет, один на двоих, - сказал комиссар серьезно, - В свою очередь будете летать, понятно?

- Понятно, - ответили оба, не понимая, откуда привалило им счастье. Но тотчас все стадо ясно. Майор, сказал, что он решил использовать для боевой службы учебный самолет У-2, который был в эскадрилье для связи и полетов в тыл, - как раз такой, на каком они учились в клубе. Им поручалось кидать по ночам на передний край немцев бомбы и гранаты. Военком подымется сейчас с каждым, проверит их летные качества, после чего им дадут минимальный срок на отработку ночных полетов и пошлют в боевой вылет.

- Только не деритесь вы там, как тигры, - хмуро закончил майор. - Тигр - животное трусливое. Он только голодный в атаку ходит, понятно?.. Сказали бы просто: будем драться, как комсомольцы, вот и было бы все ясно... Подумаешь - тигры!..

Друзья покраснели.

- Это они в газете вычитали, - пришел к ним на помощь военком. - Я и сам недавно где-то читал: "Наши крылатые соколы, как тигры, ринулись на фашистских гиен..." Прямо зоопарк, во как пишут!

Майор засмеялся - первый раз за день - и легонько подтолкнул военкома к двери:

- Ну, сажай своих тигров на самолет... Приду взглянуть...

Время было горячее, немцы окружали Севастополь, и дорог был каждый самолет, даже учебный. Мысль военкома понравилась майору, и он сам нашел время заняться а "тиграми" ночными полетами. Оба взялись за дело с удивившей его яростней страстностью, и скоро старенький учебный самолет, который в эскадрилье называли "телегой" или чаще "загробным рыданьем", нетерпеливо пошел на свою первую ночную "штурмовку". Его вел Усков, а на пустом сиденье второго летчика стояла корзина с малыми бомбами, с гранатами, "зажигалками" и пачками листовок.

И каждую ночь "загробное рыданье" стало ныть мотором над передним краем немцев, методически, с большими промежутками, швыряя в окопы гранаты и бомбы. Это, конечно,

никак нельзя было назвать "штурмовкой", как гордо именовали свои рейсы Уткин и Усков. Но, как известно, и одинокий комар может быть причиной бессонной ночи. И немцы не спали, тревожно прислушиваясь к гуденью в темноте и время от времени получая на головы равномерно капающие с неба бомбы и связки гранат.

Оба "тигра" были теперь совершенно счастливы. На десятом боевом вылете им присвоили звание младших сержантов, и если бы не острое словечко, неизвестно как выпорхнувшее из землянки майора на простор аэродрома, все было бы отлично. Но это словечко - "тигры" - напоминало им о тех, казалось бы далеких, временах, когда оба они были желторотыми мальчишками.

Теперь они были взрослыми людьми, настоящими летчиками, делавшими суровое и серьезное дело длительной отваги, и романтическое представление о бое как о стремительном прыжке давно уже сменилось отчетливым пониманием, что война - это труд, постоянный, напряженный и опасный труд. Штурм захлебнулся, немцы закопались, не продвигаясь дальше, и каждую ночь, по очереди, один из друзей долгие часы гудел над немцами, дожидаясь неосторожно мелькнувшего в блиндаже огня, вспышки орудия, мерцающей очереди пулемета, чтобы кинуть туда с темной высоты небольшую, но злую бомбу.

Эта была точная, снайперская ночная работа. Днем "загробное рыданье" появляться над фронтом не могло, его сбил бы первый же "мессершмитт". Но ночью старый учебный самолет, ведомый юношей с крепкими нервами и с горячим сердцем, полным ненависти, был хозяином темноты над немецкими окопами. Немцы, не смея открыть на переднем крае прожекторов, били по нему наугад, по звуку мотора, тратя огромное количество пуль и снарядов. Порой он попадался в эту светящуюся сеть И тогда привозил в крыльях дырки. Друзья латали их вместе, и ночью их самолет вновь швырял свои бомбы надоедливо и размеренно, доказывая, что в войне всякое оружие хорошо, если умно и смело его применять.

Но, несмотря на то что Усков и Уткин завоевали себе общее уважение, "тигры" продолжали красться за ними по пятам и предварять собой всякое появление двух друзей: летчики любят шутку, веселый розыгрыш, и не использовать столь выгодного прозвища было просто невозможно. На аэродроме, у самолета, в мастерской друзья кое-как это терпели. Но в столовой...

- Дуся, "тигры" пришли, голодные, как крылатые соколы! - возглашал кто-либо, завидев их в дверях, - Готовьте добавку, Дуся!

Это было хуже всего. Дуся была буфетчицей, комсомолкой - и

необыкновенной, единственной, замечательной, умной, отзывчивой... впрочем, ни к чему перечислять: пусть каждый припомнит все те качества, какие он в свои девятнадцать лет видел в девушке, в которую был влюблен, но помножит все это на два. Ибо влюблены в нее были оба и в разговорах о ней между собой, естественно, находили вдвое больше определений. Поэтому, когда "тигры" наконец были сданы в архив и на аэродроме появилось новое прозвище, оба почувствовали необыкновенное облегчение: теперь и в глазах Дуси оба перестали быть мальчишками.

А это было очень важно. Дуся никак не хотела понять, что каждый из них давно (уже третий месяц!) видел, какой одинокой будет его дальнейшая жизнь, если Дуся не свяжет с его судьбой свою. Вопрос этот был глубоко прочувствован и решен каждым. Остановка была только за тем, с кем именно из системы "два-У-два" захочет она связать свою судьбу. Игра велась честно, без подсидки, оба провожали Дусю но очереди в свой "выходной день", и Дуся относилась и к тому и к другому одинаково дружески.

В этих прогулках получалось почему-то так, что каждый из друзей говорил не о себе, а об ушедшем на штурмовку друге, горячо расхваливая его. И Дуся, прислушиваясь к этому, очутилась перед железной необходимостью отдать свое сердце сразу всей системе "два-У-два" как неразрывному целому: выбор сделать не представлялось возможным. И может быть, бедное Дусино сердце не выдержало бы этого, если бы инстинкт самосохранения не подсказал ей спасительного выхода: Дуся влюбилась в третьего, и при этом - не в летчика, а в старшину второй статьи с крейсера, даже не очень часто заходившего в Севастополь. Таково девичье сердце в восемнадцать лет: дальнюю мечту оно предпочитает близкой реальности.

Первому узнать об этом привелось Павлу Ускову. Был тихий декабрьский вечер. Прозрачный и холодный воздух, странный для Крыма, был свеж, и Дусины щеки горели пленительным огнем. В первый раз Ускову захотелось говорить не об отваге и замечательных свойствах Кеши Уткина, а о самом себе. Но за пропускным пунктом в сумерках показалась высокая фигура в бушлате, Дуся с легким вскриком кинулась к неизвестному краснофлотцу, и черные рукава бушлата, скрестившись на ее спине, почти закрыли всю Дусю в поле зрения ошеломленного сержанта.

Такая горячая встреча была вполне естественна, потому что крейсера не было больше двух недель и о нем поговаривали разное.

Усков кинулся на аэродром. Сумерки сгущались, но Уткин еще не взлетал. Однако Усков нашел в себе достаточно мужества, чтобы не испортить Другу его боевой вылет, и на вопрос его, почему он так рано вернулся, сказал, что Дуся что-то устала и пристроилась на машину, идущую в город. Он проводил друга в воздух и остался ждать его на аэродроме.

Они провели бессонное утро во взаимных жалобах. К обеду оба уже удивлялись тому, что, собственно, они нашли в Дусе? Из обмена мнениями выяснилось с достаточной ясностью, что она всегда была девушкой бессердечной, пустой, лицемерной, жестокой, ничем не замечательной... впрочем, ни к чему перечислять: пусть каждый припомнит все те качества, какие он в свои девятнадцать лет обнаруживал в девушке, которая от него отвернулась, но помножит все это на четыре. Ибо оскорблены были двое, и каждый из них вдобавок был оскорблен за друга. Таково юношеское сердце в девятнадцать лет: с высот любви оно погружается в самые глубины презрения.

Но страдать было некогда: начался второй штурм Севастополя. Это не входило в планы друзей, потому что майор обещал как раз на этой неделе, пока в войне затишье, начать их тренировку на боевых самолетах. Теперь опять было не до того, и "два-У-два" продолжали по очереди вылетать на свои "штурмовки" переднего края, который они знали уже наизусть. И дружба, выдержавшая испытание любовью, крепла и закалялась в грозных испытаниях войны.

"Два-У-два" стали символом неразрывной, верной, мужественной дружбы.

Кольцо осады сжималось, аэродром оказался у самого переднего края обороны, и эксадрилья перешла на новое место, к самому берегу моря.

Это был аэродром, построенный в дни осады руками севастопольских горожан. Под обстрелом тяжелой артиллерии врага севастопольцы давно уже расчищали на мысу, врезавшемся в море, каменное поле - последний приют для самолетов на случай, если враг придвинется к городу. Они растаскивали огромные глыбы. Они ровняли твердые пласты скалистого мыса. Они взваливали убранный с поля камень на бревенчатые срубы капониров - укрытий для самолетов.

И поле и камень были здесь странного - кровавого - цвета.

Когда эскадрилья садилась на аэродром, был ясный солнечный день. Тесное каменное поле нового аэродрома красным клином врезалось в яркую синеву зимнего моря, и красные каменные громады капониров высились на поле, подобные странным памятникам седой древности, похожие на

первобытные храмы, сложенные руками великанов. Но сложили их не великаны; это сделали севастопольские мужчины и женщины, старики и подростки.

В чистом и прозрачном воздухе красный и синий цвета блистали всей ясностью тонов, и мужественное, строгое их различие было сурово, торжественно и напряженно. Ничто не унижало этой мужественной строгости картины, ни один невнятный, вялый полутон. Все было ясно и четко.

Тени были черны мрачной чернотой, напоминающей о грозной туче, нависшей над городом-воином. Камни были красны яркой алостью крови, как будто они впитали в себя благородную кровь его защитников. Море и небо синели пронзительной, освежающей душу, чистой, первозданной синевой, великим спокойствием простора, свободы и надежды. И солнце, вечное, бессмертное солнце, сияло в небе, отражалось в море и освещало красный камень. Добродушное, горячее крымское солнце отдыха и здоровья было теперь строгим и холодным светилом мести.

Так виден был с воздуха этот удивительный аэродром, памятник, воздвигнутый севастопольцами самим себе, - памятник мужества и упорства советских людей, решившихся биться до конца за город доблести, верности и славы: траур, кровь, надежда и месть.

Едва эскадрилья села, над полем взвилась ракета. В красных каменных ульях, раскиданных по нему, зажужжали потревоженные пчелы. Гудя, они высовывали из груды камней свои широкие серебряные головы, поблескивая стеклянными глазами и как бы озираясь. Потом они вытягивали все свое длинное крепкое тело, расправляя жесткие, сверкающие крылья, и с мстительным, злым гуденьем взвивались в синее небо. Бомбардировщики пошли на очередной бомбовый удар.

Друзья, первый раз летевшие вместе на своем "загробном рыданье", с завистью проводили их глазами и, вздохнув, повели своего "старичка" на край аэродрома. Укрытия для него не нашлось, и первое, чем занялись "два-У-два", была постройка капонира. Забота о своем самолете еще более сблизила их, но, как ни странно, именно здесь, на аэродроме славы, в тяжкие дни второго штурма, система "два-У-два" потерпела серьезную аварию.

Это была не ссора. Это был разрыв. И хуже всего было то, что это произошло на глазах большого начальника, прилетевшего из Москвы.

Генерал осматривал новый аэродром, обходя капониры. В эскадрилье майора он поинтересовался, где прославленное "загробное рыданье", слух о подвигах которого дошел и до него, и

где эти "два-У-два", которых ставят в пример дружбы. Он наклонился к майору и сказал, что ребят пора представить к награде, и на нее не скупиться, и что им следует дать боевые самолеты.

В этом разговоре они дошли до укрытия. Здесь было тихо, гуденье взлетающих самолетов доносилось едва слышно. И в этой тишине генерал услышал раздраженные голоса и брань.

- Ты подхалим, понимаешь? Подхалим и пролаза, понятно? - кричал один голос. - За такое дело тебе ряшку на сторону своротить не жалко, понятно?

- А ты завистливый дурак, понятно? - перекрикивал второй голос, Подумаешь, крылатый тигр!.. Задаешься, а не с чего! Что я тебе - докладывать должен? Я летчик, меня и послали...

- Ты летчик? Ты черпало, а не летчик, вот ты кто!

- А из тебя и черпали не выйдет! Тебе и на подхвате стоять ладно!

Генерал быстро зашел за угол капонира и во всей красе увидел знаменитую систему "два-У-два".

Система явно сломалась. Сержанты стояли красные, злые, смотря друг на друга бешеными глазами, сжимая кулаки. И драка, вероятно, состоялась бы, если бы майор (едва удержавшись, чтобы не схватиться в отчаянии за голову) не окликнул их по фамилиям. Они повернулись, тяжело дыша, с трудом скрывая ярость, и стали "смирно".

- Это и есть "два-У-два"? - спросил генерал, пряча улыбку. - Ничего себе дружба у вас в эскадрилье. А звону развели... До самой Москвы... Это петухи какие-то, а не летчики...

Все молчали, и только тяжело дышали оба "петуха".

- Объяснить можете, товарищ майор? Нет?.. Тогда вы, сержанты. В чем дело?

Вперед выступил Уткин, и, когда он, волнуясь, заговорил, майор с изумлением увидел перед собой не сержанта, отважного и спокойного летчика, а обыкновенного мальчишку-школьника, чем-то изобиженного до слез. Слезы и вправду стояли в его глазах. Он путано рассказал, что в прошлую ночь была его очередь лететь на бомбежку, но Усков "забежал" к майору, наговорил тому, что нашел минометную батарею и что нынче лучше лететь ему, потому что рассказать, где она, трудно и Уткин ее не найдет, - словом, Усков полетел вчера не в очередь... Уткин стерпел, одна ночь не в счет. Но сегодня-то уж его очередь лететь! А Усков опять нахально говорит, что полетит снова он, потому что он, мол, не виноват, что его послали вместо Уткина... И вообще Усков подхалимничает перед командованием, выпрашивает себе поручения, и это не по-товарищески, не по-

комсомольски, это...

- Довольно, - сказал генерал хмуро. - Что ж, товарищ майор, раз они самолет поделить не могут, снимите их с полетов совсем. Война идет, а они склоками занимаются...

Лица обоих вытянулись, и Уткин сделал еще шаг вперед.

- Это же не склока, товарищ генерал-майор, - сказал он в отчаянии. Разрешите доложить.

- Ну, докладывайте, - по-прежнему хмуро сказал генерал.

Но это не был Доклад. Это был страстный крик горячего юношеского сердца. Кипящее отвагой и стремлением в бой, полное ненависти к врагу, сжигаемое жаждой мести и уязвленное обидой, оно раскрылось перед командирами во всей своей пленительной, трогательной, несколько смешной, но покоряющей красоте. Оно было еще горячо, как неостывшая сталь отливки, силы в нем бурлили, ища выхода в действии, и все в нем было наружу, все - на воле: отвага, гнев, обида и страсть... Девятнадцать лет! Удивительный возраст...

Генерал слушал его прерывистую речь, смотрел в его глаза, в которых читал больше, чем мог рассказать это Уткин, - и всепобеждающая, огромная сила юности, в гневе схватившейся за оружие и не желающей уступать его никому, всколыхнула и его сердце. Он поймал себя на том, что хочет тут же обнять этого юношу, как сына, и негромко, в самое ухо сказать: "Хорошо, сынок, хорошо... Зубами держись за каждую возможность уйти в бой, никому не уступай права бить врага, никому... Сам бей, пока молодо сердце, пока руки крепки... Хорошо, сынок, хорошо!"

Но он опустил глаза, в которых Уткин, казалось, уже видел сочувствие и понимание, и сухо сказал:

- Понятно. А в драку младшим командирам лезть не годится.

Он помолчал и вдруг закончил:

- А теперь помиритесь. При мне.

"Два-У-два" мрачно посмотрели друг на друга. Потом Усков, поколебавшись, первый протянул руку. Уткин, помедлив, взял ее. Но лица обоих были такие кислые, что командиры невольно отвернулись, чтобы скрыть улыбку, а генерал махнул рукой:

- Петухи!.. Ну, что ж... Самолет мы у вас отнимем. Подумайте на досуге. Может, помиритесь...

И самолет у них, точно, отняли. Правда, вместо него каждый из них получил по штурмовику, а оба вместе - новое прозвище "петухи". Оно было вернее, ибо система "два-У-два" уже оказалась ненужной: каждый летал на своем самолете, рядом с другим, в одном звене.

Но все же, однако, "два-У-два" еще раз прозвучало на каменном аэродроме. Это случилось весной. На фронте опять

было затишье, но "петухи" исправно вылетали всякий день на штурмовку немецких окопов - теперь уже днем, при солнце, поливая врагов из пушек и пулеметов. Из одной такой штурмовки Уткин не вернулся.

Усков доложил майору, что Уткина, очевидно, подбили снарядом, потому что он задымил и резко пошел к морю. Пойти за ним было нельзя - надо было еще поддерживать нашу контратаку. Удалось заметить, что он тянул к той косе, что слева за высотой 113,5 и где немцев нет. Если послать туда самолет, есть шанс поднять его раньше, чем туда доберутся немцы, которые, несомненно, кинутся за самолетом.

Усков доложил еще, что косу эту он знает. На ней нельзя сесть ни штурмовику, ни истребителю - мала площадка. Он попросил разрешения слетать за Уткиным на У-2, которому места там хватит и для посадки и для взлета. Майор разрешил.

И снова старый самолет почувствовал руку одного из своих прежних хозяев. Он послушно повернул к морю, - Усков решил идти низко над водой, чтобы не быть замеченным истребителями. Над морем мотор начал фыркать, чего он никогда себе раньше не позволял, когда был в их руках и когда знал настоящий уход и заботу.

Скоро показалась коса. Самолета на ней не было, не было видно и людей.

Усков сел и остановил мотор, чтобы не привлечь немцев шумом, и прислушался. Сумерки сгущались, каменные скалы нависали над косой таинственно и мрачно.

Он негромко крикнул:

- Кеша! Живой?

И тогда из расщелины скалы вылез Уткин, в мокрой одежде, таща за собой резиновую камеру от колеса.

- Павка? - сказал он. - Я и то подумал: какой чудак тут на телеге садится? Спасибо.

- Потом спасибо скажешь, крутани винт, а то застукают, - торопливо сказал Усков.

- Никого тут нет. Были бы, убили бы. А я, видишь, живой. Только мокрый. Я, понимаешь, самолет в воду грохнул, чтоб не доставался.

Он повернул винт, но мотор не заводился.

Добрый час оба летчика бились с мотором, вспоминая его капризы. Но старый самолет, когда-то не знавший отказа, видимо, в чужих руках одряхлел. Мотор так и не заводился.

Они присели на берегу. Было почти темно. Уткин сказал:

- Значит, Павка, все одно придется вплавь.

- Далековато, пожалуй, - сказал Усков. - И вода холодная.

- В море подберут. И у меня камера есть.

- Нырял?

- Ага. Вспомнил, что запасная в кабинке была... На камере-то доплывем?

- Пожалуй, доплывем, - сказал Усков. - Ну, так поплыли!

Они надули камеру и вошли в воду. Вода была нестерпимо холодная, а раньше утра их вряд ли могли подобрать. Они плыли больше получаса, потом Усков выругался:

- Кеша, что же мы "загробное рыданье" не сожгли? Починят немцы. Что ни говори, машина боевая...

Уткин выругался тоже.

- Поплыли обратно, - сказал он. - До рассвета далеко, успеем отплыть еще.

И они повернули к берегу. Едва они вышли из воды, их сразу охватил озноб.

- Согреемся, как загорится, и поплывем, - сказал Уткин и собрался открыть бензокран. Но Усков его остановил:

- Крутанем еще на счастье?

Уткин повернул винт, и по четвертому разу мотор загудел. Уткин быстро вскочил в кабину и крикнул в самое ухо Ускова:

- Да здравствует "два-У-два"!

- Долой "петухов"! - ответил Усков и дал полный газ.

"Загробное рыданье" затарахтело в темноте и покатилось к морю, но, чутьем угадав воду, Усков поднял в воздух старый самолет, свидетеля боевой славы, мальчишеской ссоры и новой - взрослой, крепкой, воинской дружбы двух морских летчиков, каждому из которых было девятнадцать лет.

Девятнадцать лет! Удивительный возраст...

1942